

ТАЙНАЯ СИЛА

ВОЙНЫ

Независимая газета,
— 2000. — 15 февр. — с. 7

К 145-летию со дня рождения Всеволода Гаршина

Геннадий Красников

РОКОВУЮ печать трагедии и предчувствия ранней гибели провидчески ухватил взглядом художника в облике Всеволода Гаршина Илья Репин. Даже те, кто никогда не встречал портретов писателя, могут представить его лицо по знаменитой репинской картине «Иван Грозный и сын его Иван», более известной как «Иван Грозный, убивающий своего сына». Убиенного царевича художник рисовал с Гаршина. И, думаясь, не внешнего сходства искал автор картины, но подчеркивал какую-то их общую внутреннюю надломленность, обреченность.

Всеволода Михайловича Гаршина называли «современным Гамлетом», «Гамлетом сердца». С «принцем датским», по свидетельствам современников, его роднило болезненно обостренное неприятие любой несправедливости, несовершенства человеческого мироустройства, что превращалось для него в постоянные, почти физические муки совести и сострадания. Этому русскому варианту гамлетовского душевного «недуга» вполне соответствует не столько эстетическое, сколько медицински точное признание самого Гаршина о собственном творчестве, сделанное уже на исходе его столь горько-непродолжительного литературного пути: «Хорошо или нехорошо выходило написанное — это вопрос посторонний; но что писал я в самом деле одними своими нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, — то это, право, не будет преувеличением». Да и какое уж тут «преувеличение», если знать, что страдавший с гимназической поры серьезным душевным расстройством в марте 1888 года тридцатитрехлетний Всеволод Гаршин во время очередного приступа болезни выбрался в лестничный пролет одного из мрачных петербургских домов. Тем самым как бы символически была закреплена его генетическая связь не с шекспировскими героями, даже в гибели побеждающими, а все-таки с гоголевской и с «князь-мышкинской» родовой линией, в которой воля к самоотрицанию (самоуничтожению) сильнее (и моральной) воли к самоутверждению, к свое-волю...

Когда-то Короленко в разговоре с Чеховым коснулся темы болезни Гаршина, высказав предположение, что если бы Всеволода Михайловича при жизни можно было ограбить «от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное — снять с усталой души то сознание общественной ответственности, которой так угнетает русского человека с чуткой совестью...», то больная душа его, дескать, могла бы прийти в состояние равновесия. На что Антон Павлович с профессиональной категоричностью врача заметил: «Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уж ничем их не сдвинешь...» Но в том-то и вся мучительная странность ситуации, весь ее драматизм, что в личном творчестве Гаршин пытается всеми силами своего доброго и раннего сердца, «одними своими нервами» — «сдвинуть», соединить, связать распавшиеся «молекулярные частицы» современного ему мира, морали, общества, государства. Можно с уверенностью сказать, что за каждым из его произведений стоит не художественный, рационально изобретенный, надуманный повод, а пережитое потрясение. Не волнение, не огорчение или раздражение, но именно — потрясение. Отсюда и «каждая буква», стоящая «капли крови». И при этом Гаршин, как справедливо отмечает Ю. Айхенвальд, «ничего большого и бесполойного не вдохнул в свои произведения, неврастения в себе, не проявил ею других...»

Первый же рассказ — «Четыре дня», написанный двадцатидвухлетним Гаршиным, явился поистине блестящим дебютом писателя, встав в один ряд с военными «Севастопольскими рассказами» Л. Толстого и с батальными картинами В. Верещагина. Вообще даже в мировой литературе этот гаршинский небольшой шедевр стоит особняком, пожалуй, не имея себе равных по описанию безумной и жут-



Всеволод Гаршин.

кой реальности войны, из прощенного, страшного в своей обыденности и привычности эпизода поднимающейся до эпического и эсхатологического символа.

Это вам не «Красный смех» Леонида Андреева, целиком нагаллюцинированный в воспаленном мозгу писателя по газетным сводкам с русско-японского фронта за тысячи верст от боевых действий. События тех лет, ксати, тревожно перекликаются с днем сегодняшним. В России тогда также были очень сильны славянские симпатии и антиамериканские (как теперь — антиамериканские) настроения. Действовал «Славянский комитет» И. Аксакова, собирались пожертвования, готовились добровольцы в сербскую армию.

День объявления Россией войны Турции Гаршин, студент Горного института, встретил так: «12 апреля 1877 года я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену по химии. Принесли манифест о войне. Наши записки остались открытыми. Мы подали прошение об увольнении и уехали в Кишинев, где поступили рядовыми в 138-й Болховский полк и через день выступили в поход...» (Позже этот поход Гаршин великолепно опишет в рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова».)

11 августа Гаршин получил ранение в бою при Аясларе (Болгария). В реляции о нем говорилось, что он «примером личной храбрости увлек вперед товарищей в атаку, во время чего и был ранен в ногу». Тогда же, находясь на лечении в военном госпитале, он и написал «Четыре дня». А в мае 1878 года Гаршин был произведен в офицеры, но не стал продолжать военную карьеру своего деда — отставного моряка и отца — офицера кирасирского полка, участника Крымской войны, и по состоянию здоровья вышел в отставку.

Если вести отсчет от первого рассказа, то на весь литературный путь Всеволода Гаршина судьбою было отпущено коротких 11 лет. Без опыта его военной прозы невозможно представить не только лучшие произведения писателя — участников Великой Отечественной войны, таких, как К. Воробьев, В. Астафьев, В. Кондратьев, В. Некрасов, В. Курочкин, но и военные страницы А. Куприна, Е. Замятина, Л. Леонова, А. Толстого, М. Шолохова... Особый, неповторимый тон повествования и более века спустя делает писателя чрезвычайно современным, ранее других постигшим философию войны, распавшейся «молекулярные частицы» добра и зла, любви и ненависти. Вот как описывает он движение армии к месту будущих сражений: «Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоразумении. «Зачем идете вы, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами?.. Останьтесь!»

«Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинувшись не дисциплине, но сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий...» («Из воспоминаний рядового Иванова».) И в том же рассказе есть характерное гаршинское описание боя, которое сегодня, когда идет оче-

редная чеченская война и русскую армию в очередной раз обвиняют в какой-то мифической кровожадности, читается как пристыжение этого подлога мифа и как печальный и светлый реквием нашей известной жертвенности и христианскому уменью все претерпевать: «Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою; всякий нехвастливый и прямой человек на вопрос: страшно ли ему, ответит: страшно. Но не было того физического страха, какой овладевает человеком ночью, в глупом переулке, при встрече с грабителем; было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И — дико и странно звучат эти слова — это сознание не оставило людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперед. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотелось идти вперед, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперед во что бы то ни стало, и мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее нужно умереть». (Выделено мною. — Г.К.)

К числу бесспорных гаршинских шедевров относится его знаменитый рассказ «Красивый цветок», события которого происходят в психиатрической лечебнице. Профессор Сикорский, известный психиатр прошлого века, считал, что в этом рассказе дано классическое изображение душевной болезни. Увы, многое из этого описания носило автобиографический характер. В рассказе действует бедный безумец, который, увидев в больничном саду три красных цветка мака, воображает, что в них сосредоточено все мировое зло, и ценно собственной жизни уничтожает их. «Утром его нашли мертвым, — заканчивает рассказ Гаршин. — Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закованная, и он унес свой трофей в могилу».

Говорят, что автор изобразил борьбу не со злом, а с иллюзией, метафорой зла, показав героическое безумие своего персонажа. Но не лучше ли такое безумие и возможность принести на Страшный суд зажатый в оконечней руке красный цветок, чем воображать себя Наполеонами, Сталиными или Ельциными и принести на последний суд тысячи человеческих жертв, слез и страданий? Кто-то строит иллюзии, что он властитель мира и вершитель чужих судеб, а кто-то погибает, веря, что это можно победить. В сущности, ко второй категории относился и сам Всеволод Гаршин.

Об этом свидетельствует и то, что он с наивной чистотой детского сердца написал несколько удивительных сказок («Красный цветок» — ведь тоже в каком-то смысле сказка, только очень страшная), в том числе «Attalea princeps», «То, чего не было», «Сказку о жабе и розе», и среди них прелестную, веселую и грустную, любимую детьми на все времена «Лягушку-путешественницу» (ставшую последней его литературной работой).

Лев Толстой, прочитав гаршинское переложение народной легенды «Сказание о гордом Аггее», отказался от задуманного им плана создавать собственный вариант этой легенды.

У Гаршина были большие творческие планы. Он собирал исторические материалы из времен Петра Великого, задумывал полудеятельский, полунатуральный роман с элементами спиритизма, но главное — готовился к работе над романом «Люди и война». Заметим, не «Война и мир», а «Люди и война», что гораздо резче определяет суть проблемы, ибо от людей зависит: быть миру или войне.

Внешне простой и ясный стиль гаршинской прозы несет в себе отнюдь не простое внутреннее напряжение, те самые «нервы». Не случайно в этом стиле прорываются несвойственные XIX веку почти современные интонации будущей прозы Андрея Платонова. Так, он пишет о шальной пуле, которая не хочет «умирать одна и попадает прямо в сердце солдату», или, говоря о герое рассказа «Сигнал», словно выхватывает строки из платоновских книг: «И стало черно в глазах его и пусто в душе его, и вырвал он флаг...»